

НОРМА		ВЫДАЧИ	
ХЛЕБА			
на Декабрь			
Взрос.	УТЗ	Средняя	Дети
250 г.	125 г.	125 г.	125 г.

# Авторский лист

ГРАЖДАНЕ!  
ПРИ АРТОБСТРЕЛ  
ЭТА СТОРОНА УЛИЦ  
НАИБОЛЕЕ ПЛАБЕ

## Страницы блокадной летописи

*Семидесятилетию освобождения  
Ленинграда посвящается*

В январе 1944 года Ленинград праздновал свою Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.



## Даниил Гранин, Алесь Адамович. Блокадная книга<sup>1</sup> Чем люди живы?

Голод терзал, насмерть убивал детей на глазах у ленинградских матерей. И дети видели муки своих матерей, но поняли их по-настоящему, может быть, лишь спустя много лет, когда сами стали матерями, отцами.

*Магдалина билась и рыдала,  
Ученик любимый каменел,  
А туда, где молча мать посяла,  
Так никто взглянуть и не посмел.*  
Анна Ахматова

У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминает мать и ее ребенок, теперь уже взрослый человек. Вот один из таких современных рассказов Ольги Ивановны Московцевой и Валентины Александровны Гавриловой (дочь будем называть Валя, хотя она уже давно взрослая).

«Ольга Ивановна:

– Я в охране была, и нам разрешили дрова брать. Попрошу одну соседку, вторую, наберем дров – они тащат, я тоже дотащу до дому и скорей на дежурство. Потом эти дрова расколем и – на рынок, там рядом рынок был, Клинский. Мне-то самой нельзя стоять продавать. Я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовалось, что есть человек. А я наблюдаю стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливился нам день: подошла ко мне женщина и сказала: “Я, говорит, вам дам килограмм крупы”.

Валя:

– Пшеница, килограмм пшеницы!

Ольга Ивановна:

– “Пшеница кило. Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу. А только вы мне к дому подвезете и свалите эти дрова”. А мне нужно и дрова везти, и Валю тащить на санках.

– Вы дрова везли, а ее посадили наверх?

Ольга Ивановна:

– Да, она не ходила. Ну, довели. Дали нам эту крупу. Куда ее девать? Валя кричит: “У нас отберут, у нас отберут эту крупу!” Я говорю: “Ладно, давай запрячем тебе за пальто”.

Валя:

– Тогда отбирали.

Ольга Ивановна:

– Да, бывало. Ну, я ей крупу сюда запрятала и говорю: “Садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой”. И вот мы привезли крупу домой. Уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйку у меня была. Я приду с работы, она нальет мне супу и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу, мне тепленького хочется с улицы, а она все считает: “Доктор мне сказал, чтобы ты не откусила лишней раз от меня, ни я, чтобы было поровну. Тогда будем живы”. Знаете, с головой у нее что-то было – она была как ненормальная.

Валя:

– Да, я была ненормальная.

Ольга Ивановна:

– Как ненормальная: у нее ни памяти не было, ничего.

– А это какой год был? До Ладоги?

Ольга Ивановна:

– Да, да, да. До Ладоги, я еще не работала на Ладоге. На Обводном был оборонный завод, там муж работал. Меня и взяли туда в охрану – я уже больная была, у меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова и брали. Это до Ладоги было.

Валя:

– Тогда давали шроты, дуранду...

Ольга Ивановна:

– У меня шерсть была, я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала, а она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень (клей вот этот, которым клеят). Я не могла есть, а Валя ела. Она ела с удовольствием этот клей, как студень.

– А насчет крупы это ей врач внушил в больнице?

Ольга Ивановна:

– Да, да. У нее с легкими было неблагополучно, все время с легкими было неблагополучно. И вот, значит, врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она – чтобы я. Вот сидим спорим. Она мне: “Я не буду есть, умру – тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет – ты умрешь тогда, но и я без тебя”. Мне приходилось уступать ей и все делить поровну. И потом: продукты получала она. Вот вижу – половиночка конфетки осталась. Я говорю: “Валя, почему ты это не съела?” (Я все хочу, чтобы она побольше меня ела.) Она мне: “Нет, нет, что ты! Я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы всё поров-

ну ели, всё поровну. Тогда мы будем с тобой жить”.

Валя:

– Относительно того, как спастись в таких условиях, по радио ленинградскому, например, говорили: “Не ешьте сразу свои сто двадцать пять граммов, делите пополам”. У меня хватало сил делить пополам. Я за окно почему-то прятала, за раму, потому что крысы были, мыши. Это поначалу. А потом уже ни мышей, ни кошек, ни собак – ничего в Ленинграде не было. И вот я делила так: кусочек съедала утром, кусочек вечером. Я прислушивалась к тому, что говорили по радио.

Ольга Ивановна:

– У нас был котенок. Я говорила – унесите его куда-нибудь. А крестный пришел и говорит: отдайте его мне, я его съем. А Валя как заплачет:

“Что ты говоришь! Кошечку хочешь съесть!” Потом я уговорила соседку, она кондуктором работала. Я говорю: “Слушай, Катя, скажи Вале, что съешь кошечку в столовую, она там будет жить, ее кормить будут, а потом ей вернут. Но только туда нельзя ходить, нельзя смотреть. Кончится война, и тебе тогда вернут”. Уговорили.

Валя:

– И еще запомнилось: мне очень хотелось жить. Я так хотела жить, так велика была сила эта, что я была готова подчиниться всему, что говорили, всем советам, только бы выжить! Просто удивительно как-то! Еще мне запомнилась продавщица, которая выдавала нам паек. Были случаи, когда не выдавали пайка: не было муки или хлебозавод не выпустил хлеба по каким-то причинам. Даже такие случаи были! А вот когда все было благополучно и хлеб привозили, это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, что они очень большие были. Но они были мерзлые. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом, она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме, в доме семьдесят шесть. Тут мы и блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, чтобы отрубить маленький кусок – сто двадцать пять граммов. Вперед не отоваривали, потому что мало было в Ленинграде таких возможностей, чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была мечта: “Мама! Неужели мы доживем до того времени, когда в булочной будут полные полки хлеба?!” Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках, хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила: “Какие же мы



Учительница музыки Нина Михайловна Никитина и ее дети Миша и Наташа делят блокадный паек. Февраль 1942 г.

будем счастливые, когда мы доживем до этого!” Я дожила до этого времени, увидела полные полки хлеба... Но до сих пор мы сушим сухарики, не выбрасываем хлеб.

Ольга Ивановна:

– Она говорила, что мы будем очень богато жить, когда у нас будет вдоволь хлеба и соли (ведь и соли тогда не было), будем с тобой пить кипяток с солью и хлебом!

Валя:

– И еще такой момент я запомнила. Мы жили рядом с Варшавским вокзалом: Московская застава, много заводов, рядом Бадаевские склады. Поэтому и бомбили очень сильно этот район. Пулковские высоты недалеко, и Московский район принимал все эти снаряды. Как только начинали бомбить, я себя считала счастливой, что живу в первом этаже, потому что сверху все бежали к нам прятаться. Обычно первый этаж считался плохим: темновато там, сыровато, а во время войны это было большое счастье. Это, может быть, нас спасло, потому что в наш дом много снарядов попадало в четвертый этаж, в третий, и тогда все бежали к нам спасаться. Мама меня в этот момент так наряжала: она снимала с меня мое детское пальто и надевала свое, потому что оно было из бостона, с меховым воротником и было все-таки подороже, чем мое детское. Она вешала мне мешочек на шею и туда клала карточки и свои и мои и говорила: мало ли что может случиться, на первое время, на первый месяц у тебя будут карточки, ты мои вещи продашь, мое пальто и как-то просуществуешь, а может быть, блокаду прорвут, и ты сумеешь эвакуироваться...»

<sup>1</sup> Отрывки из книги печатаются по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Лениздат, 1984.

## Ольга Фрейденберг. Осада человека<sup>2</sup>

Налеты и обстрелы были немилосердны и нечеловечны. С утра до ночи, от вечера и до утра мирное население города подвергалось атакам смерти. Три с половиной миллиона жителей было заперто в осажденном городе, как в ящике, и служило мишенью. О, это было страшнее фронта! На фронте не стояли пятиэтажные дома, наполненные детьми, женщинами, стариками. На фронте существовала целая система защит и укреплений. На фронте бойцы имели известное вооружение и способы ведения войны. Но какой ужас был в том, что невооруженные жители города обстреливались из тяжелых артиллерийских орудий, что в них, незащищенных, с воздуха бросали фугасные и зажигательные бомбы! Мирных людей, не принимавших участия в войне, запертых вопреки желанью в злосчастном городе, убивали и ранили, как искупительную жертву. Какая была в этом цель? Армия от этого не страдала, а лица, ответственные у нас за войну, тем более. Сколько бы мирных людей ни погибло, на исход войны это не оказывало никакого влияния. <...>

Люди ходили из столовой в столовую и ели супы. Но вот настигло их лихо: без карточек перестали давать и суп. Учитывалось все. Каша? Давай талон на крупу. Масло? Давай 5 граммов на талоне масла в каше. Ни на какие деньги нельзя было ничего купить.

<...> Ни дрова, ни керосин не выдавались; электроплитки были запрещены и контролировались лимитами. <...> Нормы все уменьшались. Большинство населения получало на целый день 125 гр. хлеба. Уже давно, впрочем, это не был хлеб. Подозрительное полумокрое месиво состояло из дуранды и всяких пустых суррогатов, пропитанных изнутри отголосками керосина. Чем меньше было хлеба, тем больше очереди. На морозе в 25–30° истощенные люди стояли часами, чтоб получить убогий свой паек. Дезорганизация и недобросовестность подрывали и эту скудную выдачу. Запасов продовольствия не было; масса жизненно необходимых вещей давно сгорела в деревянных Бадаевских складах; то, что было на районных базах, выдавалось кооперативам неравномерно, с перебоями в долгие недели. Завмаги и продавцы в подавляющем большинстве были воры и казнокрады. Девки в кооперативах, с беретами на боку и клоками завитых грязных буклей, были позвоничьи грубы; они обвешивали, обкрадывали

голодного. Убийственная медлительность, работа спустя рукава, неразбериха, блат, нарушение элементарной законности, грубость – вот что определяло кооперативы. Голодный гражданин был мухой в паутине, а паутину создавала система моральной грязи или, что то же, презрение к человеку и уничтожение человеческой личности.

Уже в декабре люди стали пухнуть и отекают от голода. Хлебали суп из столовых (воду с крупинками), ели соевую кашу, пили целыми днями кипяток, именуемый чаем; пили, чтоб согреться, пили, чтоб наполнить чем-нибудь желудок, пили и отекали.

В декабре произошло и еще одно крупное несчастье для города. Стал трамвай. Не было топлива, а потому и тока.

Громадные городские и пригородные расстояния люди одолевали ногами. Ходили из края в край, из улицы в улицу молчаливым угрюмым потоком. Город был засыпан глубоким снегом. Ходили часами, укутанные в платки, одеяла, шарфы, в шерсть и в мех; дамы больше не носили шляп, а закутывали лицо в платки до носа и до переносицы. Ходили молча, из района в район, через мосты, по льду рек. Тащили за собой санки и детские салазки, на них были балки, бревна, доски, щепки, палки. Шли целыми днями куда-то из конца в конец города, волоча детские санки со скарбом, с буржуйками, с мешками соломы.

Мрачней и замкнутей становился город. В кооперативах с заколоченными окнами, тускло освещенных ничтожными лампочками, у продавцов пухли руки от холода. Ни одно государственное здание не отапливалось. Не могло быть и речи ни о какой пощаде к человеку. Люди работали в ледяных помещениях, а по отбытии голодной каторги опять пешком колесили домой, где их ждал дым буржоек и новый холод. <...>

Пошли перебои с водой. Уже не действовал водопровод ни в кухне, ни в уборной. Мы набирали полную ванну воды и все большие сосуды. Потом и эта вода стала появляться в редкие часы не каждого дня. <...>

30-го декабря погасло электричество. Не могли дотянуть одного дня! Не могли так устроить, чтоб сэкономить накануне, но к Новому году дать хоть на несколько часов свет! Всегда и во всем пренебрежение человеком.

Квартиры, аптеки, учреждения, магазины покрылись тьмой. Днем тьма заколоченных окон, с 3-х часов тьма зимних вечеров. Пошли копилки. К дыму буржоек прибавилась густая копоть жалких тусклых коптилок. В лавках, в учрежде-

<sup>2</sup> Фрагменты записок печатаются по книге: Минувшее: Исторический альманах. М.: Прогресс; Феникс, 2001.

ниях ходили, как слепые, с вытянутыми руками и нелезали друг на друга. Заходили в магазины – в полный мрак. Руками ощупывали последнего в очереди или шли на голос. Называли свою фамилию, чтобы обозначить место в очереди. При вонючей тусклой копилке продавцы отрезали талоны... Можно себе представить, сколько они крали лишнего, преодолевая голодных! К несчастью, в городе не было и спичек. <...>

Голод шествовал, начиная с середины сентября. Уже давно выдача продуктов не соответствовала нормам карточек. Кооперативы были пусты. О, эти тяжкие приходы в темные и пустые лавки с зияющими полками! «Чем же вы торгуете?» – «Ничем!» Когда появился товар, начиналось столпотворение: очереди целыми днями на морозе, издевательство и наглость продавцов, крики, слезы, вопли женщин. <...>

Дурандовый дурной хлеб, сырой, тяжелый, теперь был прибавлен, но появлялся раз в день и расхватывался в 1/2 часа. Голодные стояли в ожидании привоза по 8–10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, одеялах поверх ватников и пальто. Появились специальные хлебные воры, которые вырывали у публики и у продавцов хлеб; пользуясь полной тьмой, они выхватывали хлебные карточки; вспыхнули хлебные грабежи, особенно вечерами, на улицах и в подворотнях. Кража хлебных карточек стала массовой; за нее в теории приговаривали к расстрелу. Крали воры и просто голодные, которые удирали. Брат крал у брата. Убивали детей и старух, и крали карточки. <...>

Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валялись. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Они лежали там, потому что их подбрасывали, как когда-то новорожденных. Дворники к утру выметали их словно мусор. Давно забыли о похоронах, о могилах, о гробах. Это было наводнение смерти, с которым уже не могли справиться. Больницы были забиты тысячами горами умерших, синих, тощих, страшных. По улицам молчаливо тащили на санках покойников. Их зашивали в тряпки или так просто накрывали, и все они были длинные, какие-то высохшие, как скелеты. Эти покойники, валявшиеся на снегу и влекомые на санях, были самым обычным, самым массовым явлением, бытовым. <...>

В Ленинграде погибло за зиму, по слухам, 3 1/2 миллиона человек. Исчезали целые семьи, целые квартиры с коллективом семей. Исчезали дома, улицы и кварталы. <...>

Осталась масса несчастных детей. В нашем доме пустела квартира за квартирой. Над нами умерла дама, ее мать, ее сын-летчик; рядом умер здоровенный молодой мужик и его четверо детей. Почти все мужья умирали первыми. Потом шли прислуги, тетки, матери, бабушки. Умирали поколениями, пластами. И бедных детей забирали в детские дома, а имущество грабили соседи. Трупы стаскивали прямо за ноги на санки, а там отвозили в районные морги, где их тысячами наваливали на грузовики и сбрасывали горой на кладбище. <...>

Замерзли трубы, остановилась вода, прекратился отлив и канализация. Выбыли из строя уборные. Стала вся живая жизнь. Газеты не вывешивались и не разносились. Стали аптеки. Прекратились службы. Перестали работать почта и телеграф. Замолчало радио.

Люди не раздевались ночью из-за холода, не мылись из-за отсутствия воды. Запертые в самых маленьких комнатах, где жили разные знакомые и родные (которые не могли жить у себя в разоренных, разбитых квартирах), они утопали в копоты коптилок, дыму буржеек; в грязных ватниках и валенках, с выпачканным лицом и черными пальцами, они на паркете рубили и кололи доски, заборы, мебель, щепки; стук раздавался целый день, – буржуйки требовали подтопки; в мисках стояла грязная вода, в которой наспех мыли руки все поколения комнаты. Резкий удушливый запах публичной уборной шел с лестницы и обратно в лестницу. Двор, пол, улица, снег, площадь – все было залито желтой вонючей жижей. <...>

Воды не было. С середины января нам за дорогу заграничную сумочку дворничиха подрядилась носить со своей кухни 2 ведра воды в течение месяца. Она держала нас в напряжении своей недобросовестностью. То носила, то не носила. Мы оставались без воды, ждали часами; я бежала в дворничиху, напоминала, льстила, уговаривала. <...>

Прямо на улице выкопан ров, во рву пущена с пожарного шланга вода – грязная, земляная. Сотни людей с санками, с кадками, чайниками, кастрюлями, ведрами. На коленях, на корточках, среди криков и гула, толкая и обливая друг друга, женщины и дети, мужики и старухи загребают грязными сосудами земляную воду. Вокруг образовалось скользкое поле мокрого льда. Это была пестрая живая картина, напоминавшая быт какого-нибудь XVII века в Азии. <...>

Вскоре на санках стали возить не одних покойников, но и воду. Возили ее с Невы, с Мойки, за тридевять земель. С непосильной ношей, с полными ведрами, голодные люди брели в жестокий мороз, брели и останавливались и снова брели. Сейчас же стали спекулировать водой, продавая



Жизнь и смерть в блокадном городе

ведро за 5 руб. и дороже. Целыми днями возили на санках ведра с водой, чайники, жбаны. Это была обычная уличная картина. <...>

В городе было массовое явление голода: сколько бы люди ни ели, они не насыщались. Килограммы хлеба, за которыми гонялись на рынках и обменивали ценные вещи, килограммы хлеба летели в утробу и вылетали оттуда, не утоляя голода. Люди таяли, психологически и физически убитые. <...>

Спекуляция, это пищевое ростовщичество, широко охватила все слои населения. Стихийно и массово, без нужды в организации и пропаганде, она нашла себя у всех, почти без исключения, советских деморализованных людей. <...>

Голод убивал нервы, волю, память. Мы все были полоумные, возбужденные, бешеные; женщины в лавках визжали, били друг друга, плакали и голосили, катались в истерике; переполненные трамваи являли страшное зрелище, и люди давили один другого, оскорбляли, кричали, калечили. Однако у многих в эти дни иссякли слезы. Это тоже были последствия голода. Многие потеряли способность плакать даже в часы сильнейших горестных переживаний. Память угасла. Даже у решительных людей пала воля. <...>

Налеты с воздуха происходили каждую ночь, раз за разом, по 3–4 часа кряду с интервалами иногда в 10–15 минут. Знаменитый, спасительный рожок («отбой») уже не приносил облегчения. Напротив, его сигнал говорил о том, что сейчас завоет сызнова плач сирены. Ночи были нервные. Мы находились всецело в руках судьбы. В этой темноте, в пустующих квартирах, достаточно было

одной зажигательной бомбы (они в счет не шли, столько немец сыпал их), чтоб пожар принес гибель: ведь не было ни охраны домов, ни дежурных, ни просто наблюдателей. <...>

Грузовики увозили мертвых. Молодые жизни обливали кровью улицы. Каждые 2–3 минуты радио выкрикивало об опасности, но кварталы пустели и сами, в одно мгновение, в один выстрел. Живые улицы сразу становились абсолютно мертвыми. Под воротами, в подъездах, на лестницах замирали, прижавшись к стене, пешеходы. Трамваи пустели, как мертвецы, на пустых рельсах. Бил грохот за грохотом, свист выл за свистом, и великаны бросали с невиданной высоты груды адских досок, которыми уложена преисподняя. <...>

История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления. Радио запрещало всякое уличное движение. Оно требовало, чтоб население укрывалось. Однако опаздывать на службу было не дозволено. Все и все были на своих местах. Никаких скидок человеку не делалось. <...>

Как мы жили? Как мы прожили эти годы? Наравне со всеми: в будущее не заглядывали, – о завтрашнем дне не думали. Погибающие люди научились жить вершками, не сговорившись. Время скорчилось и застыло судорогой. Оно измерялось обрывками и лоскутами. Жизнь состояла из стружек времени, и это сберегало, как упаковка яиц или стекла. Мы шли за секундами и получасами, глядя только под ноги, словно на перевале из скользкой грязи; за шаг вперед никто не смотрел и головы не поднимал...



В разрушенной артобстрелом ленинградской квартире. 1941

### Виктор Конецкий. Ненаписанная автобиография<sup>3</sup> (Отрывок из книги)

Меньше всего за время литературной работы я написал о нечеловеческих муках блокады – голоде, холоде, смерти. Но в памяти и душе блокада оставалась и остается всегда.

Сидишь с пишущей машинкой, уходишь в кошмар тех времен. А потом начинается: «Что вы сюда столько трупов напихали? Как это так: они у вас в дворовой мусорной яме? И подростки их изо льда вырубают? Зачем эти страсти? Нет, уважаемый, мы такими страстями читателя запугивать не собираемся». Дело не в запугивании читателя. Уж больно не вписываются блокадные фантазии в устоявшиеся каноны всех видов и типов военной прозы. А как иначе? Если вы хотите знать, тогда примите эти ужасные картинки. И знайте.

Пишут, что я мальчишкой пережил блокаду и все видел. Не было там мальчишеских глаз. Все глаза были одинаково на лбу. Если только они могли туда вылезти.

Как появилось название «блокадник», врать не буду. Вначале оно было засекречено по приказу Сталина и даже для самих блокадников необъяснимо: город Ленина не мог быть окружен,

это не допускалось идеологически. Отсюда и все вытекающие последствия. Раз никакого кольца вокруг Ленинграда нет, раз связь поддерживалась через Ладогу – блокады вроде как нет. Но куда такое спрячешь? О блокаде, конечно, узнали не сразу. Но тут и газет не надо было – разъехались ленинградцы по всей стране великой, и сталинский запрет вынуждены были снять гораздо раньше, чем прорвали это чертово кольцо.

Маннергейм дальше своей линии не пошел, потому что боялся ввязаться в крупную драку с противником и нажать массу неприятностей уже в самом городе. В царской России он служил офицером, у него были свои вполне резонные соображения насчет Ленинграда. Он остановился в районе Сосново, почти на линии финской войны, а дальше отдал приказ своим войскам окапываться, и все. Гитлер требовал от него наступления и жутко злился, что никакого наступления не получается.

<...> Мы жили в коммуналке, часть которой смотрела окнами на канал, который теперь называется Адмиралтейским. Окна вылетели при первой же бомбежке. Комнаты на той стороне квартиры стали нежилыми. У нас там стояло пианино. Однажды на нем образовался сугроб.

Забудьте об электричестве! Вместо него копилки. Выкиньте из головы отопление: никакого отопления! Буржуйка – и только-то.

Поколение, к которому принадлежала моя мама, еще не такое видело. Устроить в доме печурку для них не составляло особого труда. Брали бак, к нему приваривали или приклепывали трубу, которую высовывали в форточку. И все, тепло. Так жили.

Жгли все, что горит. Я отлично помню, у нас была большущая картина «Сирень». Это полотно с пышным букетом мы кромсали ножницами и кормили им нашу буржуйку. Думали только о еде, больше ни о чем. Взрывов и стрельбы уже не боялись, все это для нас было уже на втором плане.

Маме ничего не доставалось. Она все нам с братом подсовывала. А сама? Бог знает, как она умудрилась жить и откуда у нее брались силы. Это материнство, это необъяснимо. Поймете ли?

Страшно-нелепое обрушилось на матерей, если в зиму 1941–1942 гг. их детенышу исполнилось двенадцать лет. Ребенок разом переходил на половинный паек. Дети тогда считались только те, кто младше двенадцати лет. После этого рубежа существа превращались в иждивенцев, то есть вполне взрослых дармоедов.

Помню, что к середине блокадного периода ребенок привыкал получать 250 граммов хлеба, и матери к этому тоже привыкали. Как только ребенку исполнилось двенадцать лет, он сразу же переходил на половинный паек и получал знаменитые теперь 125 граммов. Блокадная норма не менялась до тех пор, пока не достигнешь призывного возраста или не пойдешь работать и попадешь в категорию ремесленников. Ремесленники получали рабочую карточку – 400 граммов.

Несказанно повезло! К 22 июня мне исполнилось двенадцать лет и шестнадцать дней. Так что в блокаду я попал готовым дармоедом и, возможно, поэтому выжил: перемен не было, я точно въехал в эти 125 граммов...

*Сергей Лафенков. Коллаж. Совмещение прошлого и настоящего. Наложение на старую фотографию современной с тем же ракурсом*



Страшные воспоминания. Я пошел навестить теток, маминых сестер. Когда поднялся к ним, одна из них была мертва, лежала голая, возле нее записка: «Когда умру, зажгите мою венчальную свечу». Вероятно, перед смертью сошла с ума: она почему-то сохранила заветную свечу. (К тому времени все свечки были съедены.) Другая тетка была жива, но примерзла к креслу. Увидев меня, она только и делала, что орала: «Ты ангел, ты ангел, ты ко мне спустился!» Иногда она приходила в сознание и шептала что-то более осмысленное. От взрыва на лестнице ей перебило позвоночник дверным крюком. Она доползла до кресла, залезла в него, ждала смерти, но тут пришел я. Что мне было делать? Помню, обыскал всю квартиру и нашел только деревянные колодки для обуви. Этими колодками я растопил печурку. Мертвую тетку накрыл простыней. Живую, Матрону Дмитриевну, я попытался приподнять и привести в чувство...

Доплелся за матерью... Ей удалось отправить тетку в госпиталь...

На следующий день мы с матерью и братом взяли детские санки и отправились в ту квартиру. Вывозить оттуда уже было некого и нечего. До нас там успела побывать группа молодых девок тогдашнего спецназа, которых мы прозвали зондеркомандой: они выносили трупы и одновременно шуровали по шкафам.

Милиции не хватало... <...>

Так как наш сосед, по мирным временам скрипач Мариинского театра, эвакуировался, на его место вселили семью рабочих с Кировского завода – двенадцать детей. Вскоре для нас, младших, самым страшным стало пройти отрезок от дверей нашей комнаты до выхода. Поскольку надо было передвигаться, приходилось идти, ощущая застывшие трупы...

<sup>3</sup> Печатается по: Виктор Конецкий: Ненаписанная автобиография. СПб.: ИД «Азбука-классика», 2006.